

СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙ



## КОФЕ ПО-СИРИЙСКИ<sup>1</sup>

РАССКАЗ

1

Нас отрезали от бригады за час до захода солнца. Надо было уходить раньше, как только за спиной зачастили скороговоркой автоматы в уже зачищенном квартале. Протискивавшийся следом за нами сквозь завалы камня, гнутой арматуры, разбитой и выброшенной мебели несуразный и угловатый полицейский броневичок вдруг засверкал бенгальским огнём от рикошета ударившей почти в упор пулемётной очереди, попятился и поспешил скрыться за углом дома.

— Кажется, влипли, — со злостью констатировал Вася Павлов<sup>2</sup> и выругался, вбивая короткую очередь в окно второго этажа, где замелькали бородатые физиономии. — Пovyлазили, мать вашу за ногу.

— Мать? Почему мать? Чья мать? — живо интересуется Салах, услышав знакомое слово, так часто употребляемое этими странными русскими.

— Японская, — с видом знатока глубокомысленно нарезает слова на слоги Марат<sup>3</sup>. — Понимаешь, я-по-на мать тво-ю за но-гу.

— Мама за ногу? — совсем ошалев от сложнейшей конструкции этой идиомы, трясёт головой Салах и сокрушается. — Чья нога? Не понимаю.

Джихад<sup>4</sup> что-то быстро ему говорит, потом оборачивается к нам:

---

*БЕРЕЖНОЙ Сергей Александрович родился в 1955 году в Воронежской области. Секретарь Союза писателей России, лауреат “Большой литературной премии”, литературных премий “Имперская культура”, “Прохоровское поле”, им. Генералиссимуса А. В. Суворова и др. Автор восьми книг прозы. Окончил Воронежский госуниверситет и Академию МВД СССР, служил в Советской Армии, органах МВД, федеральный судья. Живёт в г. Белгороде.*

— Я сказал ему, что это игра слов, но мне кажется, Марат Мазитович, ваши шутки сейчас не совсем уместны.

Джихаду явно не повезло с этими грубыми русскими. Даже профессор Мусин не блещет светскими манерами, что уж говорить об остальных. Он интеллигент, врач-офтальмолог, французский, английский, русский — в совершенстве. Университет в Ростове и Париже. Ходячая энциклопедия, знаток русских пословиц и поговорок на уровне учёного-филолога. Всегда только на “вы”, невозмутимость в любой ситуации, хоть гранату рви за спиной — ни один мускул не дрогнет.

В глазах Марата пляшут бесенята:

— Представляешь, матерьяльчик будет? Бомба! “Корреспонденты “АННА НЬЮС” прорываются из окружения”. Или: “Волонтёры сражаются в окружённой Дарайе”.

Однако никто не разделяет его идиотского восторга, а Джихад смотрит на него укоризненно, как на шаловливого несмышлёныша, и бледность разливается по его смуглому лицу, отчего оно приобретает какой-то неестественный металлический оттенок космического пришельца. Или бледность мертвеца, но это кому как нравится.

Подполковник стриждёт прищуренным глазом дом напротив, втягивает голову в плечи, и его донкихотская борода метёт обильно припудренный кирпичной пылью “броник”<sup>5</sup>. У него железные нервы и отменная реакция, он всегда рассудителен, мгновенно оценивает ситуацию, и сейчас ему наверняка хочется огреть прикладом этого не к месту восторженного профессора.

По мне, так шуточки Марата — верх шалопайства, отвлекают, не дают сосредоточиться. К тому же забытая за день тупая боль вдруг стала вкручиваться в простреленную челюсть, и ужасно захотелось домой. “Ну, какого чёрта не сиделось дома и дёрнуло связаться с этим ненормальным профессором?”

Сирийцы сбиваются в кучу, о чём-то негромко переговариваются, не сводя глаз с окон и подъездов окружающих домов. Лишь невозмутимый Фираз с застывшей пять тысяч лет назад мимикой сфинкса никак не реагирует на противный смехок Марата.

— О чём это они? — тихо спрашиваю у Джихада.

Неожиданно сушит гортань, и голос противно сипит — мне банально просто становится страшно. Недобитый, недостреленный, недолеченный, валялся бы сейчас на базе, гонял бы телек, читал бы или писал, так нет же, понесло опять доказывать, что страх неведом, что супер-Рэмбо, а у самого ноги подкашиваются.

Опасность не передаётся по проводам, она вдруг наваливается внезапно обвалившейся тишиной, и страх уже электризует воздух и глушит голос. И глядя на своих товарищей, ты начинаешь ощущать её по вжимающейся в плечи голове, по рыскающим взглядам, по сузившимся зрачкам, по ползущему к флажку предохранителя пальцу.

— Они говорят, что “крысы”<sup>6</sup> по подземным переходам проникли в тыл и отсекли нас от бригады. Придётся где-то переждать до утра.

Так глупо влипнуть благодаря сумасшедшему Марату! Ещё полчаса назад мы могли бы спокойно выбраться отсюда, но ему, видите ли, захотелось съёмки на закате. Романтик, блин.

— Лыбишься? Паразит ты, Марат, дай только выбраться, порешу собственными руками, — хрипло ему в улыбающуюся физиономию и демонстративно лапаю кобур.

— Ты чо, Серёга, всё будет о’кей. Переночуем на свежем воздухе, давно мечтал, — хохотунчик-профессор не унывает и держится бодрячком.

Да, его самообладанию позавидуешь.

Шанс уйти упущен напрочь. Прорываться по узкой улочке — верх безумия, разберут на молекулы с подствольников и нашинкуют из автоматов. Конечно, утром разлокируют, сделают коридор, может, даже бэмпэшку<sup>7</sup> подгонят, чтобы прикрыть выход бронёй, но ведь до утра ещё дожить надо. Хорошо ещё, если оторвёмся от “бармалеев”, найдём укромное местечко, затаимся, пересидим, переждём, а если нет? Б-р-р-р, даже думать не хочется.

Третью ночь температура падала почти до нуля — зима всё-таки, но на этот раз спасает нудная морось, не давая свалиться градусу к нулю. Не дождь вовсе, а так, недоразумение: сыплет из серого и скучного неба что-то мокрое, словно через сито просеянное, превращая густо покрытую белёсым налётом от перемолотой взрывами штукатурки и песчано-цементных блоков мостовую в густую сметану. Мы бодро шлёпали по ней целый день, перебегая простреливаемые участки улиц, оскальзываясь, чертыхаясь и матерясь.

Марат не унимается, противно хихикая и тыча пальцем в нашу обувь:  
— Вам уже и белые тапочки выдали.

Наши брюки почти до колен заляпаны мешаниной из штукатурки и силикатных блоков, что уж говорить о туфлях, кроссовках и берцах.

— Ты сам, как цирковой жеребец в белых чулках, — огрызается Павлов, рыская взглядом вдоль улицы.

— Нет, скорее кобыла жеребая, — намекаю я на его оттопыривающий “броник” живот.

Марат обиженно сопит и замолкает. Ага, зацепило, знаем, знаем твою ахиллесову пяту. Нет, мне совсем не жалко его самолюбия — мне жалко моих туфель, купленных всего пару месяцев назад и теперь имеющих довольно босяцкий вид со сбитыми носами и расцарапанной кожей.

...Возвращаемся из только что отбитой у “шайтанов” части дома обратно в соседнее здание через широченный двор. Нас слишком мало — трое русских, наш переводчик Виктор — Джихад — и дюжина спецназовцев из сто пятой бригады — полтора десятка сумасбродов в этих руинах Дарайи, кишачей боевиками. Не хотелось бы стать сакральной жертвой этой войны — до конца не понятой, но густо замешанной на вселенской лжи, цинизме, алчности.

## 2

Десять часов назад.

— Дарайя — это сирийский Сталинград, где чуть ли не каждый дом — дом Павлова, — упрямо твердил Виктор-Джихад, когда мы собирались “на выход”, подгоняли “бронники” и рассовывали магазины по карманам.

В его голосе не было патетики, да и говорил он как-то буднично, даже слишком буднично и глухо, чтобы не верить, что всё пропущено через сердце, переплетено и связано болью в такую вязь, что места иным чувствам и не осталось.

— Пусть Сталинград, не спорю, но это не наш Сталинград, и война не наша, — сопротивляется Андрюха, не отрывая взгляда от столешницы и нещадно дыма сигаретой, и неожиданно резко бросает: — Я уезжаю, всё, баста.

В общем-то, это ожидаемое. Третьи сутки без объяснения он не уходил с нами “на боевые”, не встречал по возвращении, особо ни с кем не разговаривал, угрюмо и отрешённо курил. Он нормальный мужик, две Чечни размотал, протопал и прополз, здесь уже почти три месяца, с десятком швов на голове. Нет, он не слабак. Так бывает. У каждого свой предел прочности. Это как усталость металла: вроде внешне всё нормально, а потом вдруг хрясть — и напололам.

У него двое крошек, камнем давящие долги, ноль перспектив с работой, невнятная жвачка нашей власти по войне в Сирии — то ли есть, то ли нет, а ему Джихад про Сталинград впаривает. Да он сам знает, что город уничтожен в хлам, но это не Сталинград. Таких Дарай по Сирии пруд пруди, а Сталинград — он один был такой. Это та черта, за которую не переступить, через сердце черта, через мозг каждым осознанно проведённая.

...У Андрея — потрясающий фильм о Чечне. О предательстве власти. Он кожей почувствовал, что здесь и сейчас всё может закончиться тем же, и не хотел опять быть преданным. “Вы как хотите, ребята, а уже сыт по горло всем этим”, — говорил его взгляд.

Я не осуждал его, хотя по закону больших чисел он был всё-таки не прав. Но это когда тебя в микроскоп не разглядеть, когда ты песчинка в мироздании, хотя ты тоже личность, тоже человек и тоже отчаянно хочешь жить, потому что у тебя есть обязательства не вообще перед страной, которая тебя

даже не знает и, скорее всего, знать не хочет, а перед теми, кому ты нужен, у кого обрывается сердце при каждом телефонном звонке, кто жадно прилипает к экрану телека, когда диктор бесцветно-дежурным голосом что-то говорит о Сирии.

Он глубоко затягивается сигаретой, и пальцы мелко-мелко дрожат, а на скулах вверх-вниз ходят желваки. Он просто оправдывает себя, у него своя правда. Вот ведь как получается: у Марата — своя, у Василия — своя, я без правды, просто за компанию и по недоразумению. Позвал с собою Марат — и полетел, как будто по грибы или на рыбалку собрался. Фронтовое волонтерское агентство “АННА НЬЮС” — звучит, тянет порохом, обещает адреналин, объединяет. Думал, что в сплав спаяет, да куда там, оно же и разве-ло потом в разные стороны. Говорят, что космонавты, месяцы прошедшие вместе на орбите, по возвращении стараются не встречаться — устали друг от друга до обрыдлости.

Это усталость, конечно, усталость — он просто устал от нас. Разные мы люди, характеры разные, только и общее, что ненормальные. За свой счёт прилететь в раздраемую войной страну, где нет фронта, флангов и тыла, где тебя могут подстрелить или взорвать каждую секунду в любом месте — разве это понять нормальному человеку с нормальной психикой? Выпрашивать разрешения у мухабарата<sup>8</sup> и политуправления армии участвовать в операциях спецназа, рискуя схлопотать пулю или осколок, взлететь на “растяжке”<sup>9</sup> или быть готовым рвануть чеку “эргэдэшки”<sup>10</sup>, чтобы не попасть в плен, — и это нормальные? Искать и документировать своих сограждан среди “шайтанов”, конечно, кому-то надо, но зачем отбирать хлебушек у спецслужб? Нащупать нерв сирийского общества, понять, чем оно дышит и с кем, — интересно и нужно, но опять-таки — это занятие не для волонтеров. Сбор информации? Но мы же не разведка, хотя слышать, слушать и видеть никому не возбраняется. Тогда кто? Кустарщина какая-то, от которой Андрей просто устал.

Я не устану — просто не успею, потому что скоро придётся возвращаться домой. И потом, это занятие по мне и не потому, что щекочет нервы и адреналина взахлёб, нет, просто здесь всё предельно ясно, всё искренно: враг — вот он, за улыбкой оскал не прячет, если друг — так друг до конца и выше этой дружбы ничего быть не может. А дома жизнь пресная и размеренная: дом-работа, работа-дом, а ещё до тошноты приторная ложь во всё.

— Мы первые, кто ведёт съёмку непосредственно с линии огня, — высокопарно талдычит Марат и надувает щёки.

Ну и что, что первые? Первые идиоты? Умные вторые воруют наши кадры, стирают логотип и гребут “зелёные”, посмеиваясь над первыми, а первые — простаки, работают даром, потому что так надо нашей стране. Почему? Потому что не должно быть — Россия в Сирии не воюет, а мы просто идейные отморозки, которых совсем не жалко, которых надо по мере возможности утилизировать.

Андрей первым сказал всё это вслух, хотя не должен был: решил уехать — езжай, вольному воля, а всё равно больно, словно резанули по живому. Видели, что крутит парня, ломает, поговорить бы с ним по-доброму, да не нашлось минутки. Теперь вот мы в Дарайю, откуда вообще шанс выбраться невелик, а он в аэропорт.

— Думал, что подстрахуешь сегодня второй камерой, — как-то растерянно обронил я и взглянул на Марата в надежде на поддержку, но тот отмолчался.

Мне по-настоящему жаль, что он уезжает. Мы не стали друзьями, он держался отчуждённо и вообще казался ошкетинившимся ежом. Теперь понимаю, что это была защита. От кого и зачем? Да так, на всякий случай. Сказал бы, что неумоготу ежеминутно играть в рулетку, не зная, вернёшься ли обратно или размажет тебя миной по мостовой Дарайи или Харасты, пригвоздит к стене автоматная очередь в Алеппо или Идлибе. Сказал бы, мол, простите, мужики, не могу больше, выдохся. А так не по-людски как-то...

Было понятно, что он уходит навсегда из нашей жизни, а мы из его, что он бил вдребезги на мельчайшие осколки то, что так трепетно оберегалось,

что он уже начал стирать нас из памяти, выковыривать по кусочкам, по крупинкам, чтобы никогда не возвращаться в это короткое прошлое, в этот последний день, когда мы ещё были вместе.

— Я уезжаю, — повторил он.

Больше мы с ним никогда не встретимся. По возвращении домой он сменит номер телефона и оборвёт все связи. Он больше не хотел жить прошлым. Он не хотел возвращаться на войну. Он не хотел, чтобы даже мы напоминали ему о ней.

Но жизнь с чистого листа всё равно не начать.

Мы не обнялись на прощание, не пожелали ему хорошего полёта, а он нам — возвращения, и на душе остался осадок и предчувствие беды. Она витала в воздухе, она кристаллизировалась и должна была материализоваться — ну, сколько можно крутить патрон в барабане револьвера! Ведь рано или поздно, но он войдёт в патронник, а палец нажмёт спуск... Но ведь не сегодня, правда?

Оказалось, сегодня.

### 3

Сумерки стремительно ринулись захватывать дворы и улицы города, размывая контуры домов. Точнее, не города, а того, что от него осталось, — разложившийся труп с оскаленным черепом. Дарайя вовсе не город, а призрак, когда вместо домов — их остовы с пустыми глазницами выбитых окон; улицы только угадываются и завалены горами битого кирпича; словно казнённые палачом, деревья — обрубки с обугленными и израненными стволами с отсеченными ветвями. А вот людей нет. Это жуткий пейзаж ядерной зимы без всего живого. Это то, что может сотворить безумие человеческое своими руками.

...На ночьлег выбираем более-менее приличное фойе бывшего офиса — большущее помещение на первом этаже с разбитым витринным окном во всю стену, выходящим во двор, похожий на колодец в окружении разбитых многоэтажек, отсечённый справа от внешнего мира высоким бетонным забором. Не двор, а инсталляция из остовов разбитых и сгоревших машин, пары автобусов, скрученных в замысловатые спирали арматурин, гор щебня и битого камня — эдакий конструктивизм войны. Из окон третьего этажа дома напротив пламя корчило нам рожи и жадно облизывало стену. Шикарный кадр, только с освещением беда.

Быстро баррикадируем окно найденными мешками с цементом, оставив несколько бойниц. Дверной проём забираем наполовину теми же мешками и завешиваем каким-то полотнищем.

— Парочку бы мин вон под теми окнами да у подъезда, — мечтает с ноткой сожаления Вася Павлов и кивает на дом напротив. — Или растяжек.

Василий — танкист, подполковник, тактик и даже стратег. Безмерной храбрости и трезвости решений мужик, хотя порой прорывает на безрассудство: три танка самолично подбил, то ли ретивость выграла, то ли кто пяткой самолюбие прищемил.

Вообще-то он не искушён в дипломатии, не знает полутонов и каждый раз, пробираясь сквозь проломы стен вдоль простреливаемых улиц, костерит сирийцев в бога-душу-мать за их пофигизм и пренебрежение к элементарной безопасности. При каждом удобном случае и даже неудобном он собирает аскеров<sup>11</sup> вокруг себя и начинает нудить, чтобы вот здесь поставили пулемёт, там “занавесочку”<sup>12</sup> продёрнули, а через эту улицу в самый раз ползком. Сирийцы гордые, ползать под пулями не желают, максимум — перебежка пригнувшись, поэтому на все его советы согласно кивают, улыбаются и пожимают плечами, мол, “на фига”, отчего подполковник сатанеет и непочтительно поминает их сирийскую маму.

Джихад давно уже перестал переводить шквал русского мата, вылетающего из уст подполковника со скоростью работающей “шилки”<sup>13</sup>, понимая всю бесперспективность обуздать лень своих соплеменников, сразу же выучивших

ёмкое русское слово “на фига” с разными предложениями и окончаниями и отвечающих им на все предложения Павлова.

Но сегодня он никого не учит: может, понял бесперспективность трудов своих внушить им что-то путное, может, просто устал.

Джихад задумчиво-тоскливым взглядом уставился на покалеченную одинокую оливу с расщеплённым стволом, прижимающуюся к бетонному забору. Наверное, очень уж невесёлые мысли занозили его голову, раз какая-то безучастность сквозит в каждой чёрточке его вдруг осунувшегося лица.

— А лучше батальон танков и полк пехоты, — ворчу я из вредности.

А чего бы мне не ворчать? Имею право, когда гранат — только для самоподрыва, да и патронов с гилькин нос.

— Видишь эти жалюзи? — киваю на валяющиеся тут и там вдоль стен покорёженные металлические шторы. — Получше растяжек.

Растяжки, конечно, это хорошо, это решение проблемы, а вот грохот жести разрывает тишину ночи в клочья — проверено и запатентовано ещё на Кавказе.

Собираем жалюзи и раскладываем под окнами и подъездами противоположного дома — ночью звук жести поднимет мёртвого. Сыпшем сверху на всякий случай битое стекло — классика жанра, теперь любой, сунувшийся к нам, выдаст себя с головой.

— А что, уютненько и не дует, — философски замечает Вася Павлов, закончив фортификационную суету и умащиваясь в углу на листе фанеры.

— Виктор, скажи им, чтобы работали только одиночными и только по видимой цели. Хотя ночью “бармалеи” вряд ли сунутся. И ещё: лучше дежурить по двое, так надёжнее.

Виктор передаёт мои слова Аббасу, тот что-то говорит своим бойцам. Слышны шелчки предохранителей, какая-то суета, и двое спецназовцев занимают места у бойниц.

— Тесбах ала кейр<sup>14</sup>, — негромко всем желает Аббас, командир спецназовцев.

Это звучит двусмысленно хотя бы потому, что никто спать не собирается, чтобы не обнаружить поутру свою голову у соседа подмышкой, но все соглашаются: хотелось бы ночи спокойной, без шумовых и пиротехнических эффектов.

— Иншааллах<sup>15</sup>, — глубокомысленно изрекает Фираз и тянет взгляд к прокопченному потолку.

Фираз — это вообще песня, сирийская песня, тихо журчащая ручьём в расщелине где-нибудь в Зебедани или Сергайи. А ещё это скала, утёс в штормящем море. Он всегда невозмутим с намёком на улыбку и надёжен, как швейцарский банк. Хотя откуда мне знать надёжность банков? Фираз надёжен, как Фираз, и точка.

Он откуда-то приволок в решето прошитую осколками и пулями бочку — чем не буржуйка? Два кирпичика вниз, сверху — несколько арматурин, и вот тебе и поддувало, и колосники, топи — не хочу. Ему вообще никогда ничего не надо объяснять — два года войны в спецназе сделали из него универсального солдата. Пока ещё сумерки до конца не загустели, собираем доски, палки, обломки мебели — чем больше, тем лучше, ночь зимняя долгая.

Впрочем, она не сулила ничего хорошего, и теплилась надежда, что “духи” не сунутся в эти израненные, ослепшие и онемевшие многоэтажки с проломленными стенами, сорванными дверями и выбитыми окнами. И всё же желание дожить хотя бы до рассвета перебороло извечное русское “авось”.

Отблеск от горящих дровяшек разгоняет темень по углам комнаты, зато очерчивает круг приличного освещения: не иллюминация, конечно, но даже читать можно при желании, было бы что. Главное — не молчать, иначе каждый так нырнёт в свои мысли, что не сразу и выковыряешь оттуда. Надо нервы ослабить, отпустить, ишь, натянулись, аж звенят.

Расслабляемся: Фираз мостится у “камина”; Марат тащит спинку дивана — барин, без роскоши никак, — умащивается на ней и с наслаждением потягивается; я подтаскиваю чудом сохранившееся кресло к “буржуйке” и плюхаюсь в него. Какое счастье — вот так откинуться на спинку и смежить

веки! Увы, счастье где-то заплутало, и вернулась боль, вкручиваясь в раненую руку раскалённым сверлом, а заодно и в простреленную челюсть.

Джихад снимает повязку с моей руки — синюшность расплывается от пальцев до локтя чернотой и пылает внутренним жаром. Не рука, а головешка, только ещё до конца не сгоревшая.

— Если к утру не выберемся — гангрена обеспечена, — жёстко бросает он и вгоняет антибиотик. Боль от укола не чувствую, и это уже плохо. Перспектива остаться без руки, конечно, хреновая, но до утра ещё дожить надо.

— Серёга, ну, ты просто Рэмбо, — старается словом поддержать Павлов.

— Не, Шварценеггер, — ржёт Марат, радуясь случаю отомстить за жеребую кобылу.

— Точнее, Шприцнеггер, только изрядно подсушенный.

Салах заботливо протягивает мне свою арафатку, чтобы закутал руку, но я отказываюсь. Неловко как-то перед сирийцами слабость свою показывать: мы же русские, мы терпеливые.

#### 4

На смену сумеркам как-то незаметно пришла темень, вязкая и насыщенная. Сначала заползла в развалины, загустев в самых отдалённых закутках и закоулках, а затем побрела по улицам, окрашивая их в чёрное. Стоящий напротив дом размывает сначала в тёмное пятно, а потом и вовсе стирает, и лишь в окне третьего этажа всё ещё беснуется пламя, длинными языками наползая на остатки фасадной стены.

Где-то южнее гулко бухали гаубицы, доносились глухие раскаты взрывов, напоминающие далёкую грозу, но ближе к полуночи всё стихло, и навалилась какая-то давящая тишина. В Дарайе давно уже исчезла жизнь, с тех пор, как на её улицы пришла война. Ушли все — люди, собаки, кошки, даже крысы, а птицы облетали мёртвый город стороной. Бои ночью стихали, и тогда наваливалась тишина, пугающая своей таящейся неизвестностью и несущая опасность. Это у Джека Лондона белое безмолвие, а здесь — чёрное-пречёрное.

“Крысы” ночью “шарились” по подземным туннелям, подвозили на “Тойотах” боеприпасы, подкрепление, вывозили раненых, а их ужасные землеройные машины с гидравлическими боковинами плотоядно вгрызались в грунт, проделывали новые проходы с выходами в нашем тылу. И вроде бы освободили квартал, зачистили прилегающие улицы и дома, как вдруг из-под земли выныривали “бородатые”, и всё начиналось сначала.

Небось, и сейчас шныряют по норам, тащат взрывчатку, сбиваются в стаи, чтобы вылезти в подвале какого-нибудь дома и ударить в спину. Может быть, ползут сейчас в ночи, крадутся, а мы здесь затихарились и ждём. Чего ждём?

Хотя нет, эти дурацкие мысли — от ночных страхов. Всё нормально. Тишина библейская, лишь потрескивают полешки в “камине”.

— А точно Сталинград, — ни с того, ни с сего раздаётся голос Павлова.

Ага, знать, крепко занозил его душу Джихад, раз ночь эту и эти развалины ассоциирует со Сталинградом.

Днём не задумывался, да и некогда было: пока “сквозишь” по улочкам, дворам, этажам, думается о том, как бы не напороться на очередь или растяжку, а теперь вот на философию потянуло.

— Наш Сталинград, — веско добавляет он.

— Тогда это твой дом Павлова, — подхватывает Марат. — А что, неплохо звучит, а? Дом подполковника Павлова. Это сюжет, старик. Развалины, грохот, стелется дым, и в рост встаёт Василий, стреляя от бедра из автомата. Нет, лучше бросается с гранатой на “бармалеев” и с криком: “За Асада!” — рвёт кольцо. Взрыв, и на фоне пламени — бегущая строка: “Так погиб героический подполковник Василий Павлов”.

— Не дождёшься, — лениво огрызается Вася.

— А дома сейчас наверняка метёт, морозец и снежок капусткой квашеной под ногой хрустит. Что-то захотелось на лыжи встать и с горочки, да так, чтобы свист в ушах, — совсем некстати велух размечтался я, но лишь для того, чтобы эти два интеллектуала перестали собачиться.

— Свалить отсюда каждый рад, — подхватывает Марат. — Только “на лыжи” становится желательно всей нашей сборной.

— Да нет, я про лыжи, про настоящие. Уж лет десять всё собираюсь покататься, а то снега нет, то ботинки не купил, то крещения.

— Так и я про то же. Ты только вслушайся: “олимпийский резерв Дарайи”. Ну, как, звучит? Это же именины сердца, это же бальзам на душу, — не унимается Марат.

— Бальзамчик — это душевно. В чаёк бы пару ложек, и с медком, а лучше с водочкой, — подхватывает подполковник.

Ребята понимают, что сейчас лучшая терапия — трёп ни о чём.

С утра, что называется, маковой росинки во рту не было, но утроба треклятая молчит, понимая, что насытить его всё равно нечем. Фираз подбрасывает в импровизированный камин обломки досок, и жёлто-красные блики пляшут по лицам. Зябко, но не от холода, а от поднимающегося жара — температура начинает шкалить. Последний антибиотик Джихад вколол пару часов назад, так что придётся терпеть. Безучастность и равнодушие пеленают сознание, но сдаваться всё-таки не хочется. Поднимаюсь, несколько раз приседаю и опять валюсь в кресло. Слабость начинает одолевать минут через десять, и снова встаю, повторяю всё сначала и вновь втискиваюсь в кресло. Только не спать, только не спать, только не спа...

Усталость межит веки, отключает сознание, пальцы расслабляются, и автомат скользит по коленям к туфлям, густо покрытым уже подсохшей серой корочкой, но тычок в плечо возвращает в реальность. Это Марат беспардонно врывается в иллюзии дремоты:

— Не спать, хватай мешки, вокзал отходит.

Нет, всё-таки невоспитанный этот профессор, такой кайф бесцеремонно прервал! Вроде бы шутит, а в голосе весёлость-то фальшивая. Ага, герой, тебе тоже страшно? Тоже не по себе? Тоже жить хочется? А где же вечная бравада? Значит, и ты из того же теста, что и мы.

Конечно, Марат прав на все сто. Со сна можно и своих положить, если, не приведи Господи, начнёшь заваруха. Или привидится какая-нибудь чертовщина, и ошалевший со сна воин начнёт палить в круговую. Пока очухаешься, палец уже курок надавит, и лежащая на коленях “дура” начнёт гасить всё вокруг.

Поправляю автомат, отсоединяю магазин, передёргиваю затвор, контрольный спуск, флажок предохранителя на место, шарю по полу, нащупываю выпавший патрон, кладу в карман на всякий случай, в бою можно и просчитаться, присоединяю магазин к автомату. Всё, теперь случайности исключены: в доли секунды, пока снимаешь с предохранителя, передёргиваешь затвор и нажимаешь на спуск, сознание успеет вернуться и взять мышцы под контроль.

Ловлю взгляд Салаха: ловко этот русский управляется одной рукой. И сразу же втягиваю живот и выпячиваю грудь. Чёрт возьми, а тщеславия-то у тебя, парень, оказывается захлёт! Ну, ну, покуражься, сорви пока аплодисменты, клоун, всё равно стрелять из этой тарахтелки не придётся. Нет, давить на курок ума много не надо, а вот стрелять — это уже искусство, здесь одной руки мало. Показать тебе трюк с пистолетом, что ли? Это когда одной рукой перезаряжаешь, если другую обездвижили. Крутишь его в ладони, разворачиваешь, пальцами взводишь — и всё за несколько секунд. Это школа, Салах, этому учиться надо.

— “Бьётся в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза”, — начинает вполголоса Павлов.

Судьбу испытывать не стоит: на голос может и мина прилететь, или очередь саккомпанировать, но поёт классно, поэтому никто не возражает.

Уже за полночь. Морось давно закончилась и накрывает сырой мглою. Всё-таки это лучше, чем минус, — в этой резиденции без окон, без дверей вмиг околеешь. Впрочем, совсем и не холодно даже, так, градусов на десять тянет, а возле нашего каминка и вовсе Сочи. Три дня назад в пустыне под утро даже изморозь на металл легла, а сейчас лафа. Тогда промёрзли, как цуцки, дрожь била, как припадочных, отрывая от песка и подбрасывая вверх, а сейчас, в общем-то, тепло. Кофейку бы...



Фираз словно мысли прочитал: роется в кармане куртки, выбирает зерна кофе, раскладывает их на крышке от стола и прикладом растирает в порошок. Впрочем, совсем не порошок, а так, грубый помол. Потом берёт консервную банку из-под сока, смахивает туда ладонью коричневые крошки, заливает водой и приспособливает на решёточку над бочкой. Через минуту тонкий аромат растекается по помещению. Фираз снимает с огня банку и ставит её на кирпичи, давая осесть пене, опять возвращает на огонь. Аромат всё гуще и уже не обволакивает, а щекочет ноздри, забираясь в подкорку мозга.

Он пододвигает берцем кирпич и ставит на него банку с кофе, давая немного остыть, затем сминает край жестянки в носик и протягивает мне. Я старше всех, к тому же успел получить “снайперский презент”, поэтому к заморскому аксакалу особое почтение. И всё-таки пытаюсь безуспешно передать банку Виктору.

— Пейте, пейте, вам это необходимо, — назидательно и требовательно настаивает он негромко и тут же шепотом добавляет: — Так нельзя, обидите Фиразу.

Втягиваю в рот сложенными в трубочку губами пахучую коричневую жидкость и делаю глоток — мелкий, едва доставший гортань, но такой животительный, что сразу же тепло разливается по всему телу.

Передаю Салаху банку с кофе, но тот отрицательно качает головой, всем видом показывая, что он кофе не просто не любит, а на дух не переносит. Его поддерживают все сирийцы, дружно отказываясь от напитка Фиразы. Да оно и понятно — всего пол-литровая банка на дюжину ртов — маловато, едва горло промочить, а по законам гостеприимства всё лучшее гостю.

— Ну, прямо-таки джезве<sup>16</sup>, — оживает в углу Павлов, заядлый кофеман, принимая жестянку. — Не хватает только кардамона и специй.

— Пей давай, знаток, — ворчит Марат, — пока “духи” перца тебе на хвост не насыпали.

Пламя “камина” нет-нет, да и вырвется из бочки, и тогда красновато-жёлтый свет выхватывает из темноты графически выписанные лица примостившихся вокруг.

Василий цедит с удовольствием, закрывая глаза, каждой чёрточкой лица показывая несказанное наслаждение.

— Фираз, отныне ты бариста. Вернусь домой, открою кафешку и тебя выпишу кофе варить.

Банка идёт по кругу и возвращается к Фиразу. Он улыбается и отрицательно машет головой: там такой бочки нет, да и антикварной посуды тоже.

Кстати или некстати, прицепилось:

*Война становится привычкой,  
Опять по кружкам спирт разлит,  
Опять хохочет медсестричка  
И режет сало замполит...<sup>17</sup>*

Будь она проклята, эта привычка. А вот стакан водки не помешал бы.

Боже, какая библейская ночь! Тишина такая, что за километр мышь услышишь, только мышей здесь давно уже нет. И кошек тоже. И ворон. Кстати, а почему нет ворон? Трупов хватает, и даже не в развалинах — в квартирах, во дворах, в сквериках лежат, и иногда так ударит в нос запах, что тошнота подкатывает до рвотных спазм, до перехвата дыхания. Умные птицы, эти вороны, не суются сюда. Это мы, идиоты круглые, полезли, а зачем? Да кому это нужно?

## 5

За сутки до Дарайи.

— Да кому мы здесь нужны? — Андрей злился и курил сигареты одна за другой.

Джихад возражал ему ровным и тихим голосом, хотя видно было, что даёт ему эта сдержанность с трудом. Особенно после слов, что все арабы продажны и нас всё равно предадут, помогай им или не помогай. Павлов не

вмешивался, Марата мрачно сопел, и лишь я пытался что-то робко вставить в защиту Джихада, плёл чушь про советско-сирийскую дружбу, падая к той самой черте, за которой начинается кретинизм.

Генерал из политуправления сирийской армии появился как раз в разгар ссоры, словно чувствовал неладное. А может быть, и знал: у этих стен наверняка есть уши.

— Ваше нахождение здесь — самая лучшая пропаганда. Не надо никаких слов, одно только ваше присутствие вселяет веру и силы в сердца наших бойцов, — пафосно начал он с порога заводить заезженную пластинку из запывлившей коллекции несуществующей сирийско-русской дружбы. — Я сказал бы более: в сердца нашего многострадального народа. Вы — это Россия. Вы с нами, значит, и Россия тоже с нами!

Боже, какие они одинаковые, эти целители солдатских душ, что у нас, что у них! Клонировуют их, что ли? А по-человечески говорить не могут? Только штампами?

— Может, вместо себя фото достаточно? — съязвил Павлов, пришедший в тихую ярость от одного только вида комиссаров вообще и этого, в частности. — Так я могу нашлёпать сколько душе угодно. Пусть мой дух вселяется в каждого бойца, я не против. А ещё могу заклинать или вокруг костра с бубном шаманить.

Марат сжёг его взглядом, испепелил и развеял по ветру.

— Фольклор, — успокоил он генерала.

Наверняка этот павлин понимал по-русски, но никогда не показывал этого. А зачем? Интересно же узнать, о чём говорят эти ненормальные русские. Бедный Виктор-Джихад: ему приходилось строчить донесения за каждый день и в мухабарат, и в политуправление, и ещё чёрт знает куда и кому. И не только о том, что говорим и о чём мы думаем, и даже не о моральном духе, а об отношении к Сирии и этой войне. А наш товарищ подполковник прокололся — нервишки подкачали. Непростительно.

Прощаясь, генерал улыбнулся одними только губами, одарив подполковника довольно тяжёлым взглядом, и что-то негромко произнёс.

— Что он сказал? — насторожился Марат.

— Завтра в Дарайе у нас будет возможность обогатить свою лексику местным фольклором и сплясать под аккомпанемент камерного оркестра “ан-Нусры”, — погрустнел Виктор и добавил: — Шутка.

Когда генерал ушёл, Андрей мрачно выдавил:

— Валить отсюда надо, мужики, пусть сами разбираются. Это гражданская война, это их война, не наша.

— Валить, говоришь? — зло прищурил глаз Марат. — Отсюда свалим, а потом нас валить будут, но уже дома, у родного порога. Ты что, не понимаешь или не хочешь понимать?

Да понимал он, всё понимал, только не понимал, почему нам даже “спасибо” не скажут, почему мы здесь не от государства вовсе, а сами по себе, волонтеры, добровольцы, значит. Во всяком случае, по официальной легенде.

## 6

Это было вчера. Нет, уже позавчера — давно перевалило за полночь и до рассвета осталось совсем чуть-чуть. Как говорится, на бросок гранаты.

— Слушай, бариста, у тебя в карманах больше ничего не завалилось? — Марат с надеждой смотрел на Фиразу. — Неплохо бы наш пикничок продолжить. Может, у кого-нибудь завалилось сладенькое в кармане? Ну-ка, пошарьте, мужики.

— Что там шарить, коли фига в кармане да вошь на аркане, — пробурчал подполковник, подмащивая снятый “броник” под голову.

Пробравшись к дверному проёму и не отлипая от стены, я осторожно выглянул во двор. Ночь по-прежнему не собиралась убирать разлитые чернила, хотя размытые пятна домов начинали робко приобретать очертания. Шалая луна несколько раз выглянула в разрывы облаков, подслеповато подмигнула и вновь спряталась. Где-то в стороне Дамаска глухо бухнуло, но не

раскатилось привычным эхом — то ли пристрелочный, то ли кто-то напомнил о себе. Хорошая ночька, тихая, ласковая. Скоро начнёт светать. Ну, и слава Богу, обошлось.

— Знаете, мужики, а я такого вкусного кофе в жизни не пил, — сказал я, возвращаясь к своему креслу. — И вообще, это же романтика: камин, кофе в джезве и бариста Фираз...

— И я так комфортно давненько не отдыхал. Так бы всю оставшуюся жизнь валялся бы на фанере с “броником” под головой, — улыбнулся Бася.

— Да, славный пикничок сварганили, просто мечта идиота, — откликнулся Марат. — Только вот остроути не хватает.

— Вы что имеете в виду, Марат? — насторожился Джихад.

— Скучно без “бармалеев” трапезничать. Ни тебе задушевной беседы через переводчика, — он погладил автомат. — Ни пиротехнических эффектов...

— Замолчи, дефективный профессор, беду накличешь, — шутливо осерчал Павлов.

— Да нет, это я так, к слову, кофе-то всё равно больше нет. А может, пойти у “духов” позычить? — не унимался наш академик.

— Перестаньте, Марат, мне кажется, что шутки ещё рано шутить, — устало и грустно произносит наш переводчик.

— Не нагоняй тоску, Виктор, скоро утро, придут наши, попьём кофейку и отправимся баиньки, — он вроде бы весел, но весёлость уже через силу.

Я смотрю на часы: сейчас пять, комендантский час заканчивается в семь, ещё пару часов добавим на лень сирийцев. Итого часа четыре, а это не так уж и мало, чтобы накрутить из нас фарш. Для того, чтобы ударить “граниками”<sup>18</sup>, пройтись автоматами и заполировать гранатами, четыре часа не требуется, хватит и получаса, а то и четверти.

— Не дразни судьбу, старик, дай дожить до пенсии, — поддерживаю Виктора.

— Ты и пенсия — понятия несовместимые, — ворчит Марат, но всё же замолкает.

Я оказался неправ: сирийцы пришли сразу с рассветом. Сначала громыхнуло в соседнем квартале, как раз там, куда отполз наш броневик, тут же наперебой задробили автоматы, глуша крики. Потом из-за дома, прижимаясь к стене, появился знакомый палестинец, сжатый в пружину. Следом пластались ещё двое спецназовцев.

Фираз, высунувшись из дверного проёма, махнул им рукой. На тонкое и худое лицо палестинца напозла улыбка, обнажив зубы. Он что-то сказал в висевшую на груди “токи-уоки”, торопливо подошёл к нашему убежищу, сбросил рюкзачок, достал из него полторашку воды и протянул нам. Через несколько минут двор перед нашей “ночлежкой” заполнился спецназовцами.

— Блокада прорвана, будем жить, мужики, — осклабился Марат.

— Будем, — вторю ему. — Жаль только, что такого кофе больше не будет.

— К счастью, что не будет, — поправляет подполковник.

— Да нет, дружище, всё-таки жаль. Вкус-то особый у нашего кофе был. Из такого вот кофе жизнь настоящая соткана, — возражаю я.

Теперь можно и пофилософствовать, словно война ушла вместе с остатками ночи и впереди — целая жизнь.

— Может быть, ты и прав, — задумчиво тянет Павлов. — Этот кофе в Дарайя — особый кофе, и вкус у него особый. Так и назовём его: кофе по-сирийски.

*Дамаск 2013 — Белгород 2018*

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Описываемые события происходили в феврале 2013 года во время боёв в Дарайя.

<sup>2</sup> Павлов В., подполковник, волонтер фронтового агентства “АННА НЬЮС” (ANNA NEWS).

- <sup>3</sup> Мусин М. М., руководитель агентства “АННА НЬЮС”, доктор экономических наук, секретарь Союза писателей России, политолог, конспиролог и т. д.
- <sup>4</sup> Джихад Х. (“Виктор”) – сириец, переводчик, врач-офтальмолог.
- <sup>5</sup> “Броник” (сленг) – бронезилет.
- <sup>6</sup> “Шайтаны”, “бармалеи”, “бородатые”, “духи”, “крысы” и т. д. – прозвища игольцов из “Джебхат ан-Нусра” (отделение “Аль-Каиды” в Ливии и Сирии).
- <sup>7</sup> “Бээмпэшка”, БМП – боевая машина пехоты, в данном случае БМП-2.
- <sup>8</sup> Служба безопасности.
- <sup>9</sup> Противопехотное средство из подручных материалов – гранаты, самодельные мины и т. д., приводимое в боевое состояние в результате натяжения и выдёргивания чеки проволокой, натянутой через тропу и т. п.
- <sup>10</sup> Ручная граната РГД-5.
- <sup>11</sup> Аскер, аскяр – солдат, воин.
- <sup>12</sup> “Занавеска” – ткань, натянутая на верёвку или проволоку поперёк улицы для уменьшения обзора снайперов.
- <sup>13</sup> ЗСУ-23-4 – зенитная самоходная установка.
- <sup>14</sup> Спокойной ночи.
- <sup>15</sup> На всё воля Аллаха.
- <sup>16</sup> Посуда для приготовления кофе, вроде турки.
- <sup>17</sup> В. Верстаков. “Война становится привычкой...”
- <sup>18</sup> Гранатомёты.